

Журнал "Аврора"

№7, 1972

УДК 82.09
ББК 83.3
Ж92

Ж92 Журнал "Аврора": №7, 1972 / – М.: Книга по Требованию, 2021. – 84 с.

ISBN 978-5-458-69199-4

Аврора — литературно-художественный журнал, ежемесячно выходил с июня 1969 в Ленинграде. Первоначально орган ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР и Ленинградской писательской организации; с 1980 слова о принадлежности к Ленинградской писательской организации исчезли с титульного листа. В конце 1990-х превратился в альманах, выходящий 1 раз в 2 месяца. В «Авроре» дебютировали писатели Людмила Петрушевская и Татьяна Толстая.

ISBN 978-5-458-69199-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

вать других, эгоцентризм и равнодушие, ложь и расторможенную свирепость], мы, марксисты, отстаиваем иную точку зрения. Она — в короткой и точной, как выстрел снайпера, формулировке: «В революционной деятельности изменение самого себя совпадает с преобразованием обстоятельств» [Карл Маркс, Фридрих Энгельс. «Немецкая идеология»].

Итак, речь идет не только об изменяющемся мире, но и об изменяющем его и изменяющемся вместе с ним человеке. А теперь можно сказать, что и не о человеке вообще, а о советском человеке, о нас с вами.

Из каких же составных складывается мировоззрение! Из приобретенных познаний и жизненного опыта всего общества, членом которого и является данный индивид.

Мы, советские люди, вооружены марксистско-ленинской теорией, позволяющей нам познавать и правильно оценивать и поворотные события прошлого, их причинность, и явления современности в их взаимосвязи с ближайшим и более отдаленным будущим.

Мы, советские люди, опираемся на более чем полувековой опыт разрушения устоев старого общества и строительства нового, беспримерного во всей истории человеческих цивилизаций. В этот накопленный опыт включаются и удивительные по своей смелости эксперименты, и блистательные успехи, и тяжелые ошибки, и процесс преодоления этих ошибок. Именно так создавалось мировоззрение научного коммунизма, ставшее достоянием не только членов Коммунистической партии, но и всех мыслящих граждан нашей страны.

Мировоззрение как сумма определенных познаний и многожды проверенного и перепроверенного опыта не есть некая абстрактная категория, замыкающая себя в себе. Оно прежде всего требует последовательных, целенаправленных действий, активной борьбы, вытекающей из самой его сути, — и со стороны всего коллектива [общества] и со стороны каждой отдельной личности. Мало быть согласным с идеологией коммунизма — надо бороться за ее торжество каждодневно и ежедневно, во всех сферах жизни.

Наша партия делает все для того, чтобы коммунистическое мировоззрение стало достоянием всех слоев советского общества: рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции. Создана поистине гигантская сеть политического просвещения, начиная от университетов марксизма-ленинизма и философских семинаров и кончая кружками текущей политики. Но достаточно ли стать теоретически грамотным марксистом, чтобы считать себя творцом и строителем нового общества! Разве не встречаемся мы в жизни с тем, что человек, блистательно проанализировавший на теоретическом семинаре «Материализм и эмпириокритицизм» или «Анти-Дюринг», отмолчался на собрании, где подвергся нападкам его близкий товарищ, в правоте которого он был убежден; отмолчался, не желая портить отношения с начальством, не желая «связываться»... А разве не знаем мы, что иные молодые люди, получившие отличные оценки по научному коммунизму и казавшиеся даже яркими общественниками, тайно распространяют «только среди самых близких друзей» сомнительную, дурно пахнущую литературу...

Эти двурушничавшие молодые люди — исключение из правил: в семье, как говорится, не без уroda. Но нельзя успокаивать себя подобными сентенциями.

Я вспомнил Юлиана Мархлевского потому, что меня покорила простота, прямота и точность характеристики, данной ему Кларой Цеткин. Помните: «У него не было противоречий между революционером и человеком!» То же самое можно сказать о Владимире

Ильиче Ленине, его друзьях и соратниках — Якове Михайловиче Свердлове, Глебе Максимилиановиче Кржижановском, Николае Эрнестовиче Баумане, Иване Васильевиче Бабушкине, Феликсе Эдмундовиче Дзержинском, о любимце партии Сергее Мироновиче Кирове, о многих командирах и солдатах всемирной армии коммунистов.

То же можно сказать о тоненькой большеглазой девушке — Зое Космодемьянской, о ребятах-подпольщиках Краснодона, о легендарном Рихарде Зорге, об Икоре нашего времени — Гастелло, о тысячах тех, кто, будучи глубоко убежден в правоте своего дела, беспредельно предан великим идеям социальной справедливости, отдал свои жизни ради торжества этого дела, этих идей.

«...Главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше собственное совершенствование. Не следует думать, что оба эти интереса могут стать враждебными, вступить в борьбу друг с другом, что один из них должен уничтожить другой; человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего совершенствования только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага». Эти слова принадлежат семнадцатилетнему Марксу. В них заключен основной моральный принцип человека коммунистического общества.

Мораль — сложное понятие, не вмещающееся в прокрустово ложе: вот это можно, а вот этого нельзя. Мораль — и не уголовно-процессуальный кодекс, определяющий степень виновности и меру наказания за содеянное. Наша коммунистическая мораль, о которой говорил Владимир Ильич Ленин с трибуны III съезда комсомола, есть одновременно и следствие и средство борьбы за разрушение старого, несправедливого общества и созидание нового, коммунистического общества. Мировоззрение и мораль неразрывно связаны.

Да, мораль не перечень поступков и не сборник рецептов. Наша коммунистическая мораль формируется в процессе создания нового общества. Но исходными ее принципами были, остаются и останутся в грядущем — убежденность в правоте своих взглядов, умение следовать им, отстаивать их до конца. Особенно это важно, когда речь заходит о попытках создать трещины в нашем мировоззрении когда идеологи буржуазного общества, переживающего идейный и нравственный кризис, прибегают к проповеди антикоммунизма, утверждают, что социалистическое общество якобы нуждается в либерализации, гуманизации, что при социализме нет простора для развития личности.

Я хочу заключить статью обращением к моим современникам: разомкнутые звенья перестают быть цепью — мысль выражается словом, а сказанное утверждается поступком. Только так!

Знаменитая поэтесса Саломея Нерис, пережившая все ужасы войны и эвакуации, вернулась в свой любимый Каунас уже смертельно больной. И вот, за несколько дней до смерти, едва удерживая в слабеющих пальцах карандаш, она писала Юстасу Палецкису, Антанасу Снечкусу и другим депутатам, уезжавшим на сессию Верховного Совета СССР: «...В этот раз не могу вместе со всеми друзьями депутатами радоваться празднику сессии — я так обессилела, что уже не держу на ногах...» И в конце записки: «Поздравьте дорогих друзей — А. Снечкусу и др. Я всегда с вами всеми».

Всегда с вами всеми... То были последние слова беспартийной поэтессы Саломеи Нерис, обращенные к тем, кто строил новую, коммунистическую Литву.

Реквием, достойный Моцарта!

Не люблю

Не люблю тех, которые ждут благодати,
И особенно тех, что дожидаться смогли.
Я люблю бедуинов на страже пустыни,
Моряков, что сожгли за собой корабли,
И актеров, забывших про славный свой выход,
И поэтов, не знающих, как рифмовать.
Но себя не люблю окончательно. Вы хоть
Не вините за искренность, — что там скрывать!
Я люблю после ночи, хмельной и метельной,
Повторить молчаливый без имени тост.
И еще я люблю совершенно бесцельный,
Безнадежный подарок — падение звезд.

Театральный разъезд

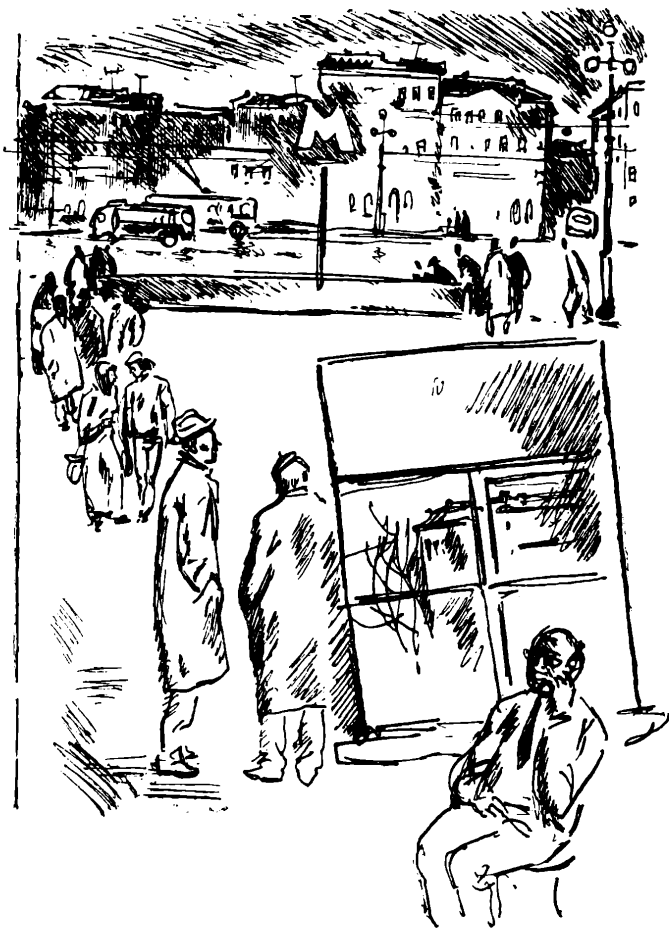
Полночь. Защелкнулись дверцы кареты.
Все распрощались. Тронулся сон.
Мчатся безумцы, актеры, поэты.
Хлыст кучерской как смычок занесен.
Ночь выпекает придворные торты.
Ночь высекает огниво сердцам.
Ночь саламандрой летит из реторты
И мандрагорой цветет мертвецам.
Мимо! Сквозь призраки скошенных окон,
Сквозь чехарду чердаков и чардаш
Ночь мою брачную, бурный мой Брокен
Наискось заштриховал карандаш.
Мимо! Туда, где гроза корчевала
По облакам бурелом топором,
Где городская весна горевала
С рваной оравой черных ворон, —
Там мое прошлое крылья простерло
С брошенной юностью накоротке,
Шарф замотал пересохшее горло,
Глаз фонарем опрокинут в реке.
Школьником, шалым от шума лесного,
В прошлых веках путешествовал сон,
Был колесом он и был колесован,
Корку делил с дрессированным псом.
Эх, расскрипелись колеса на камне!
Низкое, мокрое небо — хоть плачь.
Будет ли новая юность легка мне?
...Не остановишь запаренных кляч...

Все как было

Ты сойдешь с фонарем по скрипучим ступеням.
Двери настезь — и прямо в ненастную тишь.
Но с каким сожаленьем, с каким упоеньем
Ты на этой земле напоследок гостишь!
Все — как было. И снова к загадочным звездам
Жадно тычется глазом глупец звездочет.
Все как было. Твой мир окончательно создан,
И пространство недвижно, и время течет.
Все как было! Да только тебя уже нету.
Ты не юн, не красив, не художник, не бог,
Ненароком забрел на чужую планету,
Оскорбил ее кашлем и скрипом сапог.
Припади к ней губами, согрей, рассмотри хоть
Этих мелких корней и травинки черты.
Если даже она твоя смертная прихоть,
Все равно она мать, — понимаешь ли ты?
Расскажи ей о горе своем человечьем.
Всех, кого схоронил ты, земля сберегла.
Все как было. С тобою делиться ей нечем.
Только глина да пыль у нее, да зола.

Это не конец

Ты кончил. Тебе хорошо,
Что некуда дальше и выше.
Тот призрак, что звал ты душой,
Послушно из комнаты вышел.
Ты кончился. Завтра опять
Родится лицо человека.
А там... хоть столетье проспять,
Пылиться, как библиотека
На мертвых, чужих языках.
Быть черепом в медной оправе,
Быть кубком в горячих руках,
В гостях у чужих биографий...
Ты, может быть, плачешь навзрыд,
Но сам спохватился сейчас же,
Из пепла могилы разрыт
И поднят, весь в глине и саже,
Весь в язвах — обломок души,
Кусок истлевающей ткани...
Гуляй, сумасшествуй, спеши:
Весь мир в этом бедном стакане.
Тот призрак, что звал ты душой,
Та мелочь домашнего быта,
Та сказка о жизни чужой —
Прибита к стене и забыта.



Все нормально

Рассказ

— ВИТЬКА? — спросил кто-то по телефону, и мне вдруг захотелось, пренебрегая обычной щепетильностью по отношению к Витькиным делам, поговорить от его имени. Я решил: если пойдет какой-нибудь секретный мальчишеский разговор, обращу все в шутку или повешу трубку.

— Салют! — сказал я.

— Ну как? — спросил мой собеседник. — Как вчера?

Я не знал, что было вчера. Витька пришел рано, в хорошем настроении, даже показал мне новый прием самбо, который накануне сдал на четверку; больше того — он целый вечер делал расчет электрических цепей, а потом что-то переводил с английского. Тем не менее нужно было как-то ответить.

— В порядке, — на всякий случай сказал я. — Поезд ушел вовремя.

Я понятия не имел, что означает эта фраза про поезд, но часто слышал, как Витька ее произносит по телефону. Однажды, когда мальчишки играли у нас в преферанс, я слышал, как они время от времени произносили эти слова, носившие, по-видимому, условно-метафорический характер. Я думал, что на этом разговор закончится и я буду разоблачен. Но наши с Витькой голоса очень похожи, и невидимый друг был вполне удовлетворен моим ответом.

— А здорово мы вчера, да? — спросил он.

— Шикарно, — ответил я в отчаянии и испытал сладостное чувство приобщения к чужой тайне. Сейчас мне ничего не стоило узнать, где Витька пропа-

дает по вечерам, что это за таинственная компания, закодированная кличками «Старичок», «Балыга», «Турок», от которых моя мать, Витькина бабушка, всегда вздрагивала, вспоминая свою конспиративную молодость. Нравственная проблема чужой тайны, переплетенная с не менее важной проблемой воспитания детей, как никогда остро возникла на проводе — один провокационный вопрос, и я узнаю, где собирается и что делает Витькина «контора», как он называл своих друзей. Мы с женой не раз, лежа в постели и слушая приглушенный голос нашего обалдую, занимались дешифровкой произносимых в трубку фраз, пытаясь выяснить, находится ли наш сын в числе руководителей преступной шайки или является рядовым ее членом, и не все еще потеряно. Дело в том, что, внимательно следя за газетной дискуссией о воспитании детей, мы были раздражены постоянными противоречиями и шаркались от одного способа воспитания к другому, не зная, что выбрать. Так, например, читая о том, что родителям не следует увлекаться мелкой опекой ребенка, предоставив ему возможность самому познавать мир, мы соглашались с этой точкой зрения до той самой минуты, когда обнаруживали, что у Витьки не сдан ни один зачет за прошлый семестр и он вот-вот вылетит из института. Тут мы лихорадочно присоединялись к противоположной точке зрения и доводили дело до такого накала, что казалось, будто наша двухкомнатная квартира подсоединена к линии высокого напряжения и в любую минуту может взорваться. Убедившись в том, что никакого результата этим не достигли, мы возвращались к прежней точке зрения, и когда Витька приходил домой поздно, даже не спрашивали, где он был, рисуя себе такие картины, где самой идиллической был районный вытрезвитель.

Очевидно, на мне сказались старомодное воспитание, и я, преодолев низменные побуждения и отказываясь от раскрытия тайны моего сына, решил повесить трубку. Но в это время мой собеседник вдруг легко переключился на другую тему и сказал:

— А я сегодня пойду пласт писать.

Эта фраза была мне более или менее понятна. Она означала: «Я сегодня буду переписывать музыку с пластинки на магнитофон». Витька частенько на вопрос матери, куда он идет, отвечал: «Иду писать пласт». На эту тему я мог вести абстрактный разговор сколько угодно, тут не требовалось особого умения и, кроме того, не нарушалась родительская этика.

— Какой пласт? — спросил я.

— Двойной диск «Чикаго», чувак берет всего два рэ.

Я быстро перевел в уме эту фразу на русский язык, и мне это удалось.

— Что еще есть? — смело спросил я.

— Роллинг Стоунс, Хендрикс...

— Законно, — ответил я несколькими устаревшим словом, ибо запасы мои иссякали.

— Может, приклеишься?

— У меня, к сожалению, не хватает этих самых... рэ... — сказал я, чувствуя всю негармоничность этой фразы. Жаргон тоже имеет свою логику, эклектичное построение предложения могло меня выдать. Но мой собеседник ни о чем пока не догадывался.

— А ты потряси своих родителей.

Это было нечто новое в языкознании. Еще совсем недавно мы были «предками», в лучшем случае «стариками»; можно было предположить, что логика развития этого языка приведет к тому, что мы будем именоваться «питекантропами» или «приматами» («А ты потряси своих приматов!»), но обычное общепотребительное и совершенно нейтральное — «ро-

дители» меня смутило. По-видимому, мой неизвестный друг почувствовал это, потому что спросил:

— Ты там что, задремал, старичок? Может, прошвырнемся?

«Ага, — подумал я, — и у тебя, брат, не хватает нового словаря! Что это за «прошвырнемся» — пятилетней давности слово? Я от Витьки уже давно такого не слышал». Так или иначе, я мог теперь себе позволить некоторые вольности.

— А какая сегодня погода? — спросил я, уже совсем обнаглев и прибегнув к лексикону прошлого века.

— Погода четкая, — ответил собеседник, ничего не подозревая.

Это было неожиданно, этого я еще не слышал. Если бы он сказал: «Погода нормальная», я бы не смутился. «Нормально» стало универсальным словом, пригодным для характеристики почти какого угодно явления. «Как дела в институте?» — «Нормально». «Понравился тебе фильм?» — «Нормально». Однажды Витькин товарищ на вопрос, как поживает его мама, сказал: «Нормально. Она вот ногу сломала». Таким образом, к всеобъемлющему значению слова «нормально» я уже привык, но определение погоды как «четкой» было мне внове, и я попробовал представить себе эту погоду.

Небо совершенно ясное, глубокого синего цвета, над отчетливыми линиями домов резко очерченный круг солнца, мокрый снег сменился кристаллическим, на шубах видны точные контуры геометрически правильных снежинок.

На большее у меня фантазии не хватило — по-видимому, мы часто воспринимаем пейзаж через впитанную с детства классическую поэзию: мы легко и свободно представляем себе «зеленый шум», который «идет, гудёт», особенно не задумываясь над тем, как может быть шум зеленым, мы восхищаемся тем, что «копая осенний блеск денницы дрожит обманчивым огнем». И хотя еще не видим этого блеска, но уже подготовлены поэтом к тому, чтобы увидеть его. Первыми видят природу поэты, а потом уже мы. «Черт его знает, — подумал я, — может быть, когда-нибудь эпитет «четкий» и выразит природу двадцатого века, где бессмертная ее красота оснащена высокоорганизованной техникой, но пока что это меня не устраивает». Однако я согласился с приятелем, что в четкую погоду не вредно прошвырнуться, и мы условились встретиться у метро. Там всегда назначал все встречи Витька — это было как раньше, давно, «у фонтана», затем «у часов, на углу», а в мои времена — «у трамвайной остановки». Действительно, метро давало возможность встретиться почти в любом районе города, не требовало уточнений и было вполне в духе времени. Условившись, я повесил трубку и задумался над тем, как узнаю своего собеседника. План мой был очень прост и, как мне казалось, свидетельствовал о моей деликатности. Я должен был подойти к молодому человеку, спросить, не с ним ли я имел честь разговаривать по телефону, и, излучая обаяние, признаться в том, что я пошутил, «разыграл» его, разговаривал вместо своего сына, воспользовавшись тем, что голоса у нас похожи. Но я, мол, не хочу продолжать эту игру, дабы не узнать не положенные мне тайны. Это должно было произвести на парня хорошее впечатление, и предполагалось, что он потом будет восторженно отзываться обо мне среди всей «конторы» и говорить моему Витьке: «Клёвый он у тебя старик». На большее я не рассчитывал, но это я-себе рисовал, как шаг к сближению с сыном.

Понятия не имея о том, как выглядит Витькин товарищ, и даже не зная его имени, я попытался представить себе некий средний образ современного моло-

дого шалопаю: длинные волосы, куртка под кожу и маленькая замшевая кепочка, символизирующая головной убор. К тому же я очень рассчитывал на интуицию. Не исключалось также и то, что этот парень бывал у нас, знает меня и, увидев, поздоровается.

Я вышел из дому, испытывая легкий детективный зуд и заранее предвкушая, как буду рассказывать эту историю жене, и она, быть может, воскликнет: «Да ты еще совсем мальчишка!», что всегда приятно услышать в предпенсионном возрасте.

Погода была довольно скверная, никакой «четкости» я в ней не заметил — шел мокрый снег, сопровождаемый приступами порывистого острого ветра, различные светильники, окутанные туманом, слабо освещали дорогу. Около станции метро было пустынно, только время от времени из дверей выходила стайка людей, прибывших с очередным поездом. Киоск с журналами и газетами казался маленькой праздничной яхтой, застрявшей среди воды; старичок продавец был, по-видимому, веселым человеком, решившим бросить вызов своему скряге-начальнику тем, что ввинтил в патрон стоваттную лампу. Он уютно сидел на высоком табурете, среди газет «Смена» и «Советская культура», улыбался редким покупателям, зябко кутавшимся в воротники, и советовал прочитать в сегодняшней газете фельетон из жизни киноартистов.

Моего телефонного приятеля еще не было, и я, как муха на огонь, потянулся к газетному киоску, уже поругивая себя за эту странную затею, которая с каждой минутой казалась мне все глупей и глупей. Теперь я не видел в ней ничего остроумного, способного умилить этого незнакомого парня. И вместо восторга, которым, как мне казалось, должна была проникнуться вся его компания, моя попытка пошутить вызовет, в лучшем случае, жалкое сочувствие.

Я не спеша рассматривал журналы и газеты; старичок продавец, немножко поколдовав под прилавком, положил передо мной последний номер журнала «Силуэт», но, удивленный полным моим равнодушием, сразу убрал его. Я выбрал несколько газет, расплатился и посмотрел на часы. Было на пятнадцать минут больше условленного часа. Витькин приятель не спешил, и мне вдруг стало скучно и неинтересно и вся моя игривость прошла. Продавец медленно отсчитывал сдачу. Я решил дожидаться еще одного потока пассажиров, после чего вернуться домой и попытаться поработать. Черт меня дернул выйти в такую мерзкую погоду — я чувствовал, как холодные капли медленно стекают за воротник, микропористые подошвы набухли и стали пропускать воду (кому это, интересно, пришло в голову отменить калоши?), было неуютно и одиноко. Я закурил сигарету, вытащив ее из подкладки пиджака, — мне строго-настрого запретили курить, жена тщательно следила за этим, но о заветной сигарете никогда не догадывалась. Затянувшись, я испытал сладостное мальчишеское чувство: от тайного, запретного удовольствия мне стало веселее, и задуманная шутка уже опять казалась не такой глупой.

— Разрешите прикурить?

За мной стоял мужчина лет пятидесяти, в добротном, но уже не модном ратиновом пальто и в берете. Держа в пальцах папиросу «Беломор», он потянулся к моей сигарете, и мне показалось, что, прежде чем прикурить, он оглянулся по сторонам. Глубоко затянувшись, он подмигнул мне, как-то радостно-освобожденно выдохнул дым и сказал:

— Смотрите, никому не рассказывайте.

Я всегда испытываю примитивную радость, когда со мной весело и непринужденно заговаривают незнакомые люди. Быть может, частое общение с так назы-

ваемой сферой обслуживания или отсутствие в нашей жизни расслабляющего сантима выработали эту внутреннюю потребность в доброжелательности, — так или иначе, старомодный диалог с шуткой и улыбкой меня всегда сразу подкупает.

— Не расскажу. Я ведь и сам, как видите, покуриваю.

— А нельзя?

— Ни в коем случае.

— Инфаркт?

— Почти.

— А у меня уже был.

Если бы не этот «сердечный» диалог, все обстояло бы как в школе во время перемены — даже папироску он держал огнем в рукав, чтобы учительница не заметила. Я был посмелее, но это объяснялось тем, что жена никак не могла оказаться рядом, — она была в командировке.

— Приятно все-таки втихомолку покурить, — сказал я.

— А как насчет выпивки?

— Очень редко. В гостях.

— Точно. Мы как-то уравниваемся с годами.

Он помолчал, и я понял, что он дает мне время обдумать некую заманчивую идею.

— Так как?

— Давайте.

Мы молча перешли дорогу. Винный магазин был еще открыт, в нем было шумно и оживленно. Казалось, что дневная суматошная жизнь здесь как бы замедлялась и успокаивалась, — люди легко общались, обмениваясь шутками и посвящая друг друга в свои служебные и семейные дела. Трое молодых людей с бокалами в руках ожесточенно спорили о преимуществе нового компрессора и клялись сказать завтра главному инженеру всю правду-матку. У большой декоративной бочки стоял бородастый философ, словно сам Диоген вышел из нее немного подышать воздухом. Он задумчиво смотрел в свой бокал, пытаясь сквозь толстое зеленоватое стекло разглядеть истину. В этой тесной комнате, пропитанной дымом и вином, царил атмосфера сочувствия и взаимопонимания. Вырвавшиеся на волю мужчины стали добрее и словоохотливее, они пили за здоровье своих жен и проносили ласковые слова, которых так никогда и не услышат их женщины. Один полный, рыхлый человек плакал, поскольку был не понят человечеством, другой молчаливо стоял у стойки и думал свою думу.

— Два стакана сухого, — сказал мой новый знакомый, и, увидев, что я полез в карман за деньгами, сделал предупредительный жест, означавший, что платит он, поскольку идея принадлежит ему, — международный жест, понятный мужчинам всех континентов. Он протянул продавщице приготовленные заранее деньги, и мы, выбравшись из очереди, отошли к стене.

— Теперь мы можем и представиться друг другу, — сказал мой новый приятель и, держа в левой руке бокал, протянул правую. — Сорокин Николай Петрович.

— Антонов Борис Васильевич!

— Ваше здоровье, Борис Васильевич!

— Благодарю вас.

Вино было кислотатое и теплое, но здесь пили не для того, чтобы испытать тонкие вкусовые ощущения или смаковать тщательно подобранный букет. Пили, чтобы поскорее захмелеть, чуть освободиться от дневного напряжения, покуражиться в славном мужском разговоре, показать, чего ты на самом деле стоишь и как тебя не ценят на работе...

Я давно не пил, поэтому уже после первого глотка испытал восторженную-теплоту, медленно охватываю-

жую меня, Николай Петрович Сорокин показался мне необыкновенно симпатичным, а в дальнейшем и обаятельным человеком. После второго бокала мне захотелось поделиться с ним моей сегодняшней не удавшейся затеей. Мне казалось, что он должен оценить ее, — вероятно, и у него есть дети; правда, он выглядел старше меня, значит, и дети постарше и проблемы уже совсем другие...

— Дети у вас есть, Николай Петрович? — спросил я просто, без всякой логической связи.

— Есть.

— Взрослые уже?

— Дочке десять, сыну семнадцать. Я — поздний отец. Я ведь только недавно женился...

— Ясно, — сказал я.

— Да чего уж ясней!

— Дружите со своими ребятами? — спросил я. Мне всегда казалось очень важным дружить со своими ребятами — по-видимому, именно этого мне не хватало. Витька был веселым и общительным мальчиком, он охотно пересказывал нам сюжеты кинофильмов и прикидывался в несложных своих приключениях, однако о чем бы ни шла речь, я всегда чувствовал лежащую между нами незримую границу, приближаться к которой было опасно, ибо с обеих сторон она охранялась далеко не одинаковым оружием: с нашей стороны — устаревшие сентенции, с его — современная усовершенствованная ирония. Сколько раз пытался я незаметно пересечь эту границу, хоть ненадолго расположиться на его территории — все было напрасно, и я убирался восвояси.

— Нет, пожалуй, не дружу, — сказал Николай Петрович. — Не получается.

Он помолчал, как бы ища аргументы, подтверждающие это заключение, потом добавил:

— Наденька еще маленькая, а Санька — пижон. Они теперь все пижоны.

— Да, — согласился я.

— Сухие они какие-то. Их не прошибешь.

— И эгоисты.

— Только о себе и думают.

— Это верно.

Мы отвели душу. Одинаковый взгляд на молодое поколение сблизил нас — было приятно, что тут нет разногласий, мы улыбнулись друг другу и заказали еще два бокала. Нам было уютно здесь, среди незнакомых людей, в тесном, дымном помещении, где в каждом уголке горячо обсуждались научные и философские проблемы. Трое молодых людей, решавших судьбу своего компрессора, перешли на вопросы управления и разрабатывали принцип, который завтра они выложат главному инженеру; Диоген исчез: то ли он вернулся в бочку, то ли растаял в винных парах; толстяк, не понятый человечеством, прикорнул, привалившись к теплomu радиатору.

— Меня беспокоят их нравственные принципы, — сказал Николай Петрович, — их беззаботность, равнодушные ко всему. Готовы ли они к ударам судьбы?!

Эта старинная фраза о судьбе понравилась мне, и я выступил с речью, где нарицательный образ современного молодого человека, отталкиваясь от своего Витьки. Второй бокал вина помог проявиться моему ораторскому дарованию, и мне удалось противопоставить старое славное поколение подвижников и гуманистов новому поколению деловых и черствых молодых людей. Мне казалось, что я говорю хорошо и убедительно и буду иметь успех у всех этих отцов, отравившихся на часок от воспитания своих детей, чтоб опрокинуть чарочку. Но никто не обратил на меня внимания — все были заняты разбором своих собственных неурядиц.

— А может быть, мы чего-то не знаем про них? — вяло закончил я свой обличительный монолог.

— Я как раз сегодня решил кое-что узнать, — сообщил Николай Петрович.

— Каким образом?

— Откровенно говоря, не самым лучшим... Вообще-то я не шарю по карманам своих детей, но сегодня утром мой Санька забыл на столе блокнот... Соблазн был слишком велик... Я, правда, не обнаружил там работы мысли... Только имена и телефоны, имена и телефоны: «Петька, Вадька, Витька, Валерка...» Я выбрал первый попавшийся номер и позвонил. Дело в том, что у меня и у моего Саньки абсолютно одинаковые голоса. А лексикон их я давно освоил...

— Очень интересно, — сказал я.

— И, скажу вам по секрету, я кое-что разнюхал. Знаю, например, что они вчера «шикарно» провели время. Я так и спросил: «Здорово мы вчера, да?» — и тот простофиля ответил: «Шикарно...» Теперь вот думаю-гадаю, что это значит...

Я почувствовал, как где-то в глубине моего тела поднимается маленький легкий дымок — это была совесть, я узнал ее горьковатый вкус.

— Больше того! — весело воскликнул Николай Петрович. — Мы условились встретиться. Я, естественно, предполагал лишь издали посмотреть на него. — Николай Петрович с сожалением развел руками. — Но этот тип не пришел.

— Пришел, — сказал я.

Николай Петрович отставил свой бокал и внимательно посмотрел на меня. Потом он как-то странно захихикал, но сразу остановился.

— Пришел?

Я кивнул головой.

— То есть как?

— Очень просто.

Мы рассмеялись. Сначала он, потом я, потом оба вместе, потом стали внимательно разглядывать друг друга, словно знакомились вторично.

— Здорово получилось, — неуверенно сказал Николай Петрович.

— Да, неплохо, — вяло согласился я.

— Просто анекдот, — закричал Николай Петрович, совсем развеселясь.

— Ловко это мы с вами... — поддержал его я.

Мы были в восторге друг от друга — нам очень хотелось, чтобы все это было смешно. Мы еще долго продолжали резвиться, и заказали еще вина, и стояли уже на пороге «брудершафта», когда заметили, что наш винный салон опустел, а мимо открытых дверей побежали люди, накапливаясь на противоположной стороне улицы. К этому времени мы уже стали понимать друг друга с полуслова и тоже побежали, расспрашивая прохожих, что случилось, и пылая гражданским гневом по поводу неупорядоченности уличного движения.

— А может, его спасут, — предположила какая-то женщина в платке.

— Кого? — спросил я.

— Мальчишку. Он ведь прямо под автобус кинулся. Раззяву этого отпихнул, а сам...

Я тоже был возмущен раззявой, чуть не попавшим под автобус, и ринулся в толпу. И тут я заметил, что люди стали расступаться передо мной, как будто знали что-то, чего я еще не знал, а милиционер почему-то козырнул мне. В эту минуту я отрезвел, и мне стало страшно.

Я перебежал дорогу и остановился у маленького плацдарма, где произошло несчастье.

Он лежал у самого тротуара. Громадная синяя морда автобуса нависла над его нестриженной, лохматой

головой; педалеко, на земле, валялась маленькая замшевая кепочка. Какой-то человек сидел рядом на корточках и держал его руку.

Но я сразу увидел, что это не Витька. Я слышал, как в конце улицы возник тоскующий нетерпеливый звук, потом на противоположной стороне остановилась машина с красным крестом и кто-то показывал шоферу, как лучше подъехать к пострадавшему. Но это был не Витька! Из машины выбежали санитары с носилками и молодой человек в халате, без шапки. Подошел к мальчишке, он сначала посмотрел на него, прищурив глаза, словно примеривался, с чего начать, потом наклонился и осторожными медленными движениями стал ощупывать его тело. Но я уже знал, что это не Витька!! Я увидел, как мальчишка открыл глаза и с интересом посмотрел на доктора.

— Как? — спросил я.

— Нормально, — ответил врач.

«Господи, — подумал я, — он тоже так разговаривает». Сейчас я увидел, что врач немногим старше своего пациента, — у него были рыжие волосы и веселые глаза.

— Не волнуйтесь, папаша, — добавил он, — склеим его.

— Старикашка-то хоть жив? — спросил мальчишка.

— Жив, куда он денется, — сказал врач.

— Здорово я гробанулся?

— Нормально.

— Хрустнул?

— Ничего. Оформим тебя, будешь как новый.

Они хорошо понимали друг друга, мне же казалось, что разговаривают два иностранца. Паренек попытался повернуться на бок, и я увидел на его руке часы, точь-в-точь как у моего Витьки — на широком ремешке с металлическими бляшками, но они были разбиты. Неподалеку, окруженный любопытными, стоял тот самый «старикашка», о котором спросил паренек, и рассказывал подробности происшествия. Впрочем, он вовсе не был старикашкой, по крайней мере мне не хотелось считать его таковым, потому что он был примерно моего возраста, может быть, даже немного моложе. Рассказывая, он одновременно прижимал к себе и успокаивал плачущую женщину — по-видимому, это была его жена.

Санитары стали укладывать раненого на носилки: я увидел, как он поморщился, но ничего не сказал.

— Из родных есть кто-нибудь? Можно проводить до больницы, — объяснил врач.

— Родных нет, но если нужно, я поеду.

— Не обязательно. — сказал рыжий доктор, а мальчик удивленно посмотрел на меня:

— Хиляй домой, папаша. Все нормально.

— Ладно, — сказал я. — Не пищи!

Я увидел, что рядом со мной стоит Николай Петрович — мой сегодняшний приятель и собутыльник. Но он мне почему-то показался старше, чем был там, в шалмане, когда мы веселились.

— Тебя как зовут? — спросил он у мальчика.

— Вам-то не все равно?.. Генкой зовут.

— Больно тебе, Генка?

— Не в том дело. Мне завтра курсовик сдавать, а этот тип все сорвал.

— Кто? — спросил я.

— Да хмырь этот, который чуть под мотор не попал.

Санитары подняли носилки и понесли. Задняя дверь машины была уже открыта, они поставили носилки на рельсы и стали их задвигать. От врача мы узнали, что у Генки перелом тазобедренной кости и вывих плеча. Мелкие ушибы и царапины не считались, случай был, по медицинским нормам, средней тяжести, не слишком интересный, — там предпочитают сложные переломы, являющиеся материалом для научных конференций и диссертаций.

Мы возвращались по темной уже улице, и казалось, что прошло бог знает сколько времени с той минуты, когда мы познакомились у газетного киоска. Но прошло не более двух часов. Погода за это время изменилась: ветер утих, чуть подморозило, произошло обычное для наших широт быстрое и резкое изменение атмосферного давления. Мы оба чувствовали это и в другое время всласть поговорили бы о своих хворобах, но теперь шли молча. На Кировском проспекте, у гастронома, стояла длинная очередь за ананасами.

— Подбросили к концу месяца, — сказал Николай Петрович.

— Да.

Разговор не клеился. Что-то ушло от нас, что-то мешало заговорить в обычном тоне умудренных жизнью родителей: классическое противопоставление поколений, исторгавшее из нас такое количество безукоризненных сентенций, ласкавшее своей несомненностью, удовлетворявшее нашу постоянную жажду к поучениям, вдруг перестало действовать, словно то, что случилось, остановило нас и заставило подумать о наших мальчишках.

На углу Николай Петрович остановился:

— Мне сюда.

Мы пожали руки, не обменявшись прощальными любезностями, — мне показалось, что мы думаем об одном и том же и без слов понимаем друг друга.

Николай Петрович завернул за угол, а я пошел дальше по Кировскому проспекту. Я не спешил, я знал, что Витьки еще нет дома и мне сегодня наверняка предстоит долгая бессонная ночь. Ночные фонари еще не успели зажечь, некоторое время проспект жил таинственной сумеречной жизнью, и только когда я дошел до Пушкарской, все разом вспыхнуло и засияло ночной красотой. Около обувного магазина в долгом затыжном поезде застыла парочка, и мне стало странно, что я не рассердился на них, а понял, что им сейчас хорошо и безразлично, что я подумаю. Я вошел в будку телефона-автомата, нашел в кармане две копейки и набрал наш номер. Не знаю, почему я это сделал, Витьки еще наверняка нет, но было приятно набирать свой номер и ждать.

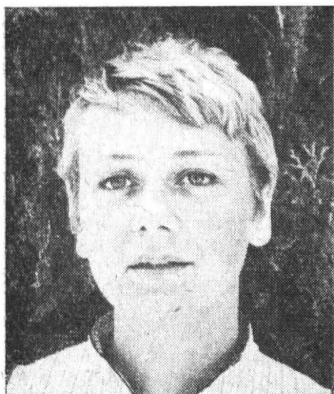
Но Витька, оказывается, был дома, он снял трубку, и я услышал его голос.

— Привет! — сказал я.

— Отец?! — В голосе его звучало удивление. — Ты где бродишь? Что с тобой?..

— Все нормально, — сказал я. — Сейчас приду. Если хочешь, приготовь ужин.

Я повесил трубку, вышел из телефонной будки и медленно пошел домой.



Людмила Петрушевская
ДВА РАССКАЗА



Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ — москвичка. Она окончила Московский университет, сейчас работает редактором на Центральной студии телевидения. Печатается впервые.

**1.
Рассказчица**



**2.
История Клариссы**



Рисунки Татьяны Чепековой

1. Рассказчица

Ее можно заставить рассказать о себе все что угодно, если только кто захочет этого. Она совершенно не дорожит тем, что другие скрывают, или, наоборот, рассказывают с горечью, с жалостью к себе, со сдержанной печалью. Она даже, кажется, не понимает, зачем это может ей понадобиться и почему такие вещи можно рассказывать только близким людям, да к тому же потом жалеть об этом. Она может рассказывать о себе даже в автобусе какой-нибудь сослуживице, которая от нечего делать начнет спрашивать, как жизнь.

Она с легкостью ответит, что все пока плохо. Что маму положили в больницу, отец взял отпуск, чтобы за ней ухаживать. «Что, такое тяжелое у мамы положение?» Она ответит, что положение средней тяжести, но если отец взял отпуск — значит, скоро все-таки концы. «Как так концы?» Ну как, обыкновенно. «А у мамы что?» Ну рак, ответит она как ни в чем не бывало. «Рак чего?» Теперь уже всего, а сначала был рак матки. «И давно?» — спрашивает сослуживица, заинтересованная до такой степени, что даже теряет всякое ощущение места. «Восемь лет», — отвечает рассказчица и продолжает отвечать дальше на вопросы, которые следуют один за другим, так что, когда пора выходить и рассказчица сходит, ее сослуживица остается стоять в автобусе ошеломленная, темно-красная от внезапного прилива крови и поправляет на шее выбившийся шелковый шарфик.

Той, которая сошла, двадцать лет, — она высокая, очень высокая, но достаточно полная и поэтому соразмерная. Несмотря на это, некоторые вдруг замечают, что у нее огромные икры. Ей можно сказать об этом, она оглянется, задрожав ногой, и вполне простодушно скажет, что за последний год выросла в объеме на семь сантиметров и теперь уже не сомневается, что станет такой же, как мама. Если ее дальше спрашивать, она расскажет, что мама у нее очень полная женщина, особенно заметен живот, который отвисает, как у беременной на девятом месяце. «И кроме того, он весь изрезан, но она все равно каждые три месяца ложится на операцию, ей опять режут живот. И так уже восемь лет». Еще она живет, говорит рассказчица, ее уже давно все врачи схоронили, а она все живет, все ходит из комнаты в комнату. И отец уже как бешеный, вдруг бросается к столу с кулаками. Особенно он бешеный и подозрительный, когда у самого совесть нечиста, — тогда можно после кино домой не приходиться, все равно не поверит, что была в кино, а не где-то еще, неизвестно где. В эти периоды он с матерью забирает у рассказчицы из комнаты все тряпки до единой, все кофты и платья, которые ей сами купили или которые она уже сама купила на свою зарплату, и все эти тряпки запирают в шифоньер в своей комнате и выдают потом только по одной, пока наконец все эти вещи не перекочают обратно.

И еще она может рассказать, что отец бил ее все время, с самого детства, особенно если она задерживалась у какой-нибудь подружки после школы. Отец мог прямо стулом бить за такие дела, а иногда это могло сойти с рук, неизвестно почему. И она привыкла отличать эти настроения отца одно от другого и догадывалась, есть у отца кто-нибудь в этот период или у него никого нет. А матери эти дела отца были безразличны, в конце концов она знала, что ей с ее фигурой все равно некуда податься, а специальности у нее не было. Так что она пекла пироги, пришивала подворотнички отцу и еще что-то там делала. Но отец не хотел признаваться, что порядок вещей изменился

и что теперь ему нельзя так же честно смотреть людям в глаза, хотя его никто не попрекал, а наоборот — все подталкивали улучшить свою жизнь. Но отец упорствовал и держал себя так, чтобы никто не мог даже подумать о том, что у него что-то не так, и поэтому особенно усердствовал в подозрениях по отношению к Гале, давая этим знать о своей честности. Но только раньше, говорила Галя, когда мама еще не была больна и все у них было в порядке, почему же и тогда он все-таки подозревал и встречал Галя у школы или внезапно на ночь глядя, когда ее уже уложили и потушили свет, вдруг входил к ней в комнату, врасплох зажигал свет и делал вид, что что-то ищет в письменном столе — ластик или чернильный карандаш.

Она может все это рассказывать одно за другим, пока задают вопросы. При этом не заметно, чтобы она стеснялась отвечать на некоторые вопросы или не хотела бы этого делать, но внезапно решила все-таки рассказывать дальше: будь что будет! Нет, она с видом полнейшего равнодушия выкладывает все, что у нее есть за душой. Допустим, зимним вечером на остановке автобуса она может ответить, что у нее есть один архитектор, но он что-то говорит, будто им необходимо расстаться на месяц, пока он съездит в Дом творчества и оценит все, чтобы после этого месяца встретиться с ней и уже окончательно решить насчет всего, что будет. А на вопрос, любит ли она его, Галя спокойно говорит, что, конечно, любит, но что из этого выйдет — вот вопрос. У него мать старая, а ему уже почти что сорок лет, и он никак не может решиться представить себе, как же так в их двух комнатухах вместо одной хозяйки, его матери, будет жить еще и его молодая жена, и насколько это будет сложно, он просто не представляет, — ему нужно много работать, он еще и художник. До сих пор он приглашал ее к себе в гости, они с матерью усаживали ее в кресло, ухаживали за ней и осторожно переглядывались между собой, как будто спрашивали друг друга, как же они все вместе поместятся в двух комнатухах? Он рисовал портрет Гали и говорил ей иногда, чего никто ей еще не говорил: что она похожа на греческую богиню с этими своими волосами, глазами, носом, и ртом, и подбородком, и шеей, и ушами.

А потом у Гали появится новый мальчик, и точно так же, как и об архитекторе, и об этом новом инженерке, тоже все будут знать. Можно сказать, что в конторе, где Галя работает, это стало каким-то новым видом спорта — выуживать у нее все до самого конца, до самых подробностей, до дна, до того, чего она еще сама не поняла, но все остальные, опытные женщины и мужчины, поймут еще лучше, чем она. Тем более что на нынешнем этапе уже ничего не надо начинать сначала, а все продолжается. То есть она до такой степени не скрывается, что даже иногда становится неудобно, стыдно ее спрашивать. Чего-то она не понимает, каких-то женских стыдливости, какой-то самообороны, тактики моллюска, который хлопывает створки раковины, пока еще никто не успел разглядеть, что там скрывается глубже, хотя все прекрасно знают, что там может скрываться. Но то, что не обозначено словом, того как бы и не существует в природе, поэтому остается только предполагать, а точно никто не знает. Вот что такое настоящая стыдливость, настоящая скромность. А Галя — нет, Галя, например, говорит, что отец каждый вечер ее расспрашивал о том, как прошел день, и потом проверял, звонил учительнице и подругам, так что Гале волей-неволей надо было говорить всю правду. Но этого ему было мало. Он ее выспрашивал о ее мыслях, о том, что она переживает, плакала ли она и где, когда учительница ее выставила из класса за

то, что она слишком разболталась с передней партой. И о чем разболталась — спрашивал отец, а руку держал на спинке стула, на котором сидела Галя рядом с ним, и она знала, что в любой момент он мог крикнуть: «Врешь!» — и начать бить, так что она вся прямо наизнанку выворачивалась, и если чего-нибудь не думала в тот момент, о котором ее расспрашивал отец, то даже и не пыталась придумывать эти мысли, потому что отец очень тонко чувствовал, когда она начинает придумывать, а сидела, вспоминала и наконец говорила — болтали о том, что она просила отдать ей ластик, который передняя парта взяла на предыдущем уроке.

Так что с Галей можно было не начинать расспросы с самого начала, а просто продолжать с того момента, на котором в предыдущий раз остановились. Например, спросить, как же чувствует себя ее мама. И она ответит, что пока плохо, у отца уже кончился отпуск, он там с ней в больнице каждый день сидел, так что вся больница теперь его уважает и знает и в гардеробной ему безо всякого пропуска сразу дают халат, и что теперь он не знает, что делать, — ее ведь надо кормить насильно, она ничего не принимает, разве что ложечку бульона, а он все равно ей варил каждый день дышленка и носил в широкогорлом термосе в больницу. Теперь приехала мама отца, бабушка, теперь она ездит в больницу, а отец даже не спрашивает бабушку, как там дела, потому что знает, что когда что-нибудь будет, ему же первому на службу сообщат, — он оставил свой телефон на столике у дежурной медсестры под стеклом.

И при этих рассказах она даже не плачет, хотя у всех, кому она это рассказывает по очереди, глаза на мокром месте. Так не получается, чтобы Галя рассказывала все собравшимся вместе, — это же не отчетное собрание, чтобы всем сразу рассказывать. Так что ее спрашивают все по очереди в коридоре, в буфете, у зеркала. Тут же попутно она может ответить и на вопрос об этом инженере, своем новом мальчике, и она расскажет, что это очень хороший человек, на восемь лет ее старше, что он уже познакомил ее со своими родными на дне рождения у своей матери и что ей все очень понравилось. «Но ты смотри, раньше времени...» — почти все без исключения женщины говорят ей, а она только машет рукой и отвечает, что куда там!

Потом Галя надолго исчезает из конторы, берет отпуск, чтобы в свою очередь сидеть с матерью в больнице. Тут уже все сразу о ней забывают, только иногда кто-нибудь да скажет: «Надо бы позвонить ей, узнать, как дела», но на это дело и гложет, пока наконец не кончается срок ее отпуска — ей выходить на работу, а ее нет целый день. Начальник выходит вместе с инспектором отдела кадров в общую комнату, они спрашивают, не слыхал ли кто-нибудь, когда Галя должна уже появиться, потому что все сроки истекли, а если есть какие-нибудь оправдательные документы, справки и так далее, то их нужно было предъявлять заранее. Но тут раздается звонок, и мужской голос сообщает, что у Гали умерла мама и в связи с этим она выйдет на работу в четверг, а заявление о продлении отпуска за свой счет она принесет с собой, так что пусть ее оформят задним числом.

Потом Галя как ни в чем не бывало выходит на работу, совершенно такая же, как была, и не более бледная, чем обычно. И вот тут начинается все наоборот. Наоборот, никто ни о чем ее не расспрашивает, обращаются к ней только по делу или насчет погоды, но расспрашивать ее никто не собирается. Что-то такое произошло у всех в душах, какой-то переворот,

что никто и слышать не хочет ни о похоронах, ни о том, как теперь Галин отец, не собирается ли жениться, и как Галин мальчик, инженер.

И вот проходит месяца два, и кто-то из женщин по инерции все-таки задает вопрос Гале, шуточный вопрос, на который ни одна нормальная девушка не ответила бы: «Когда же свадьба?» Но Галя невозмутимо во всеулышание говорит, что бракосочетание назначено через два месяца, на семнадцатое, на пятницу.

Во-первых, никто от нее и не ждал такого точного ответа и никому это не нужно было, никого это не касалось. Во-вторых, даже из чувства простого самосохранения ни одна девушка не стала бы всех оповещать за два месяца до свадьбы: мало ли что может случиться за эти два месяца, да и потом зачем же это надо, чтобы каждый встречный-поперечный знал об этом глубоко личном, сокровенном событии?

Все просто опешили. Никто этого не ожидал от Гали, тем более что предстояла реорганизация и по этой реорганизации Галина единица подлежала сокращению, так что в то время, когда Галя стала бы выходить замуж, она уже давно была бы не в коллективе конторы и тем более это ее глубоко личное событие в жизни уже никого бы не коснулось. Но пока Галя ничего не знала о предстоящем сокращении. Потом, правда, она все-таки узнала — ее вызвала к себе инспектор отдела кадров и сказала ей, добавив, что они постараются ее как-то трудоустроить, потому что у заведующего большие связи.

Но к этому моменту Галя уже сделала одну большую ошибку: она пригласила всю контору к себе на свадьбу и даже назвала адрес кафе, где все это будет происходить через месяц. Она стала приносить в контору разные вещи — материал на платье для свадьбы, и все его посмотрели через силу, потому что знали, что Галя подлежит сокращению, а она еще в то время не знала. Потом Галя принесла жемчужный воротник и жемчужные манжеты к этому платью и всем желающим рисовала, какое у нее будет платье. Но теперь в том, что она все рассказывала, совсем не было прежнего — когда ее расспрашивали, а она отвечала. Нет, теперь она рассказывала сама, и как-то лихорадочно, точно боялась, что ее не расслышат. И ей стали делать замечания, что в рабочее время надо заниматься совсем другими вещами, а именно тем, за что платят зарплату. Она тут же замолкала и прятала свои рисунки и манжеты, но на следующий день все повторялось сначала.

Когда Галя вернулась от инспектора отдела кадров, от которого наконец узнала о предстоящем сокращении ее единицы, то как ни в чем не бывало сказала, что все равно ждет всех на свою свадьбу в кафе и пришлет всем приглашительные билеты. И все как-то неприятно растерялись, тем более что пятница для всех дорогой день, конец недели, — кто-то уезжает за город, у кого-то свои, другие дела. Но она ничего этого даже не подозревала и, уходя в последний день и со всеми прощаясь, еще раз повторила: «Ну, погуляем у меня на свадьбе, не забудьте, через пятницу».

И уходила-то она не на пустое место, а в архив на хорошую должность, оклад выше, чем в конторе. Так что обижаться ей было не на что — это о ней позаботился, похлопотал заведующий.

И все бы уже позабыли о Гале и ее свадьбе, но как раз за день до ее свадьбы, в четверг, она появилась в контору и застала всех буквально врасплох. Люди подходили к телефону, потому что она подзывала каждого и каждому говорила: «Не забыли ли вы, что завтра вечером я вас жду в кафе на Семёновской улице? И получили ли приглашительные биле-